

- Батырева С. Г. Старокалмыцкое искусство. Альбом. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1991. 127 с.; 102 илл.
- Батырева С. Г., Курапов А. А. Хошеутовский хурал: история и современность // Кочевые цивилизации народов Центральной и Северной Азии: история, состояние, проблемы: сб. материалов I Междунар. науч.-практ. конф. Ч. 1. Кызыл; Красноярск, 2008. С. 75–83.
- Житецкий И. А. Очерки быта астраханских калмыков. Этнографические наблюдения. 1884–1886 гг. 2-е изд. [репринт]. Элиста: Калм. гос. карт. галерея, 1991. 74 с.
- Жуковская Н. Л. Категории и символика традиционной культуры монголов / отв. ред. А. П. Деревянко / АН СССР. Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. М.: Наука, гл. ред. вост. лит., 1988. 196 с.
- Кичиков А. Ш. Образная память народа как знак культуры // Библиографическое пособие. Национальная библиотека им. А. М. Амур-Сана. Элиста: АПП «Джангар», 1998. С. 7–8.
- Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии: в 4 вып. Вып. 2. Материалы этнографические с 26 табл. и рис. Результаты путешествия, исполненного в 1876–1877 годах. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1881. 181 с. + 87 с. + 26 табл.
- Курган В. П. Г. О. Рокчинский. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1983. С. 3–14.
- Прозрителев Г. Н. Военное прошлое наших калмык. Элиста: Санан, 1990. 144 (I) + 28 (II) + 60 (III) + 44 (IV) + 30 (V) + XXXXIII с.
- Тищков В. А. Культурный смысл пространства // В конгресс этнографов и антропологов России (Омск, 9–12 июня 2003 г.). Тезисы докладов. М., 2003. С. 16–24.

УДК 821.161.1

ББК 83.3 (2Рос=Рос)

**«С КОНИ КАЛМЫЦКОГО СВАЛЯСЬ...»**  
**(историко-литературный комментарий к строке**  
**из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»)**

Б. А. Кичикова

Позволим себе напомнить: комментируемая ниже строка из начала шестой главы пушкинского романа в стихах представляет собою лишь малую часть характеристики одного из второстепенных персонажей и относится к Зарецкому — секунданту Владимира Ленского, вызвавшего на роковой поединок своего друга, Евгения Онегина. С образом Зарецкого в романе впервые возникает тема Отечественной войны 1812 г., — но в весьма своеобразной, антигероической трактовке, обусловленной скандальным поведением данного персонажа. В следующей же, седьмой главе романа читатель услышит подлинный гимн патриотизму соотечественников в лирическом отступлении о Москве — непокоренном сердце России: «*Она готовила пожар Нетерпеливому герою*» [VI: 155]<sup>1</sup>. Изложение некоторых опорных эпизодов «биографии» Зарецкого относится к его довоенному и военному прошлому, включая «участие» в Заграничном походе русской армии и пребывание в капитулировавшем Париже (1813–1814 гг.). Приводим комментируемую строфию V из шестой главы романа:

<sup>1</sup> Сочинения и переписка А. С. Пушкина приводятся с указанием тома и страницы в скобках после цитаты по репринтному воспроизведению Большого академического издания: [Пушкин 1937–1949 (1994–1997)]. Здесь и далее указываются номер тома и страница.

Бывало, льстивый голос света  
В нем злую храбрость выхвалял:  
Он, правда, в туз из пистолета  
В пяти саженях попадал,  
И то сказать, что и в сраженьи  
Раз в настоящем упоены  
Он отличился, смело в грязь  
С коня калмыцкого свались,  
Как зюзя пьяный, и французам  
Достался в плен: драгой залог!  
Новейший Регул, чести бог,  
Готовый вновь предаться узам,  
Чтоб каждым утром у Верги  
В долг осушать бутылки три

[VI: 119].

\*\*\*

Болдинской осенью 1830 г. работа над романом «Евгений Онегин» вступала в завершающую стадию. 28 сентября Пушкин набросал итоговый (как тогда ему казалось) план для будущего издания, в этой записи каждая глава получила лаконичное название и сопровождалась пометой с указанием места и времени ее написания. Как известно, шестая глава в болдинском плане названа «*Поединок*», помета указывает: «*Михайловское. 1826*» [XVII: 186].

Творческая история шестой главы почти неизвестна. Принято считать, что работа над нею заняла около двух лет: в основном

написана к концу 1826 г., дорабатывалась в 1827 г. [Тархов 1980: 262]. По мнению Р. В. Иезуитовой, шестая глава, «начатая не ранее 3 марта 1826 г. (а возможно, и позднее, в летние месяцы этого года), <…> к моменту внезапного отъезда из Михайловского (в ночь с 3 на 4 сентября 1826 г.) была завершена в своей первой редакции» [Иезуитова 1999: 285]. В начале марта 1828 г. Николай I позволяет ее печатать, 21 марта III жандармское отделение разрешает ее выпуск, и 23 марта 1828 г. шестая глава выходит в свет.

Эта публикация завершалась пометой: «Конец первой части». Таким образом, читатели и критики были вправе ожидать второй части «Евгения Онегина», состоящей опять-таки из шести глав. Этот первоначальный, *двенадцатиглавый*, сюжетно-композиционный план романа относится к 1827–1828 гг.; отвергнутый автором, он был реконструирован усилиями исследователей в начале 1980-х гг. Из болдинского же плана следует, что роман в окончательной редакции должен был иметь трехчастную композицию и состоять из девяти глав. Но замысел симметричной, двухчастной композиции (а главное диктат изменившегося времени) возобладал, и Пушкин приступил к воплощению романного построения из восьми глав тою же болдинской осенью, 19 октября 1830 г. уничтожив (и частью зашифровав) так называемую десятую («декабристскую») главу и переведя часть восьмой главы («Странствие») в приложение к роману под названием «*Отрывок из Путешествия Онегина*». Последней стала глава «Большой свет», в которой герои романа встречаются вновь, чтобы расстаться навсегда.

Однако вне зависимости от композиционных перестроек шестая глава осталась в сюжете пушкинского романа как мощное художественное выражение некоего кризиса, как этап переломный — она помечена особой, неизгладимой печатью.

Кризисное духовное и душевное состояние поэта во время работы над нею обусловлено трагическими последствиями восстания 14 декабря предыдущего, 1825 г. — ходом расследования заговора, участники которого почти все друзья и знакомые Пушкина [Декабристы 1988; Черейский 1988], ожиданием приговора над ними и самим приговором, ужаснувшим весь цивилизованный мир своей жестокостью. Из глухи

Михайловского ссылочный поэт напряженно вслушивается в роковую поступь нового царствования. Тревога за судьбу лучших людей своей эпохи сменяется скорбью по казненным и «наказанным», гнев и ярость неимоверно переплетаются с надеждой на перемену собственной участи. Определенное «событийное» наполнение сухих опорных и промежуточных дат основной работы над шестой главой позволит представить обстоятельства, в которых находились тогда Россия и ее Поэт.

*3 марта 1826 г.* Прапорщик Саратовского пехотного полка, член «Общества соединенных славян», некто И. Ф. Шимков на допросе в Следственном Комитете показал, что обнаруженные в его бумагах стихи, «наполненные мерзостным ругательством», найдены им в 1824 г.; они подписаны «П.ш.н.»: «сие я почел за Пушкин» и «списал их собственною моей рукою» [Летопись 1999: 129].

*11 мая — первая половина июня 1826 г.* Вняв увещеваниям столичных друзей воспользоваться сменой царствования и добиться освобождения из политической ссылки, А. С. Пушкин пишет императору Николаю I «*тверdom намерении не противоречить моими мнениями общепринятому порядку*», ссылаясь на расстроенное здоровье, просит позволения, в целях лечения, «*ехать или в Москву, или в Петербург, или в чужие края*» и дает мучительную для себя подписку в том, что он «*ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал*», «*и не принадлежит*», «*и никогда не знал о них*» [ХIII: 283–284].

*13 июля 1826 г.* На валу кронверка Петропавловской крепости состоялась церемония разжалования осужденных и казнь пятерых декабристов. Официальная пресса торжественно объявила о предстоящей коронации нового императора и в связи с этим об отмене траура по усопшему Александру I.

*15–17 июля 1826 г.* Газеты печатают манифест от 13 июля и доклад Верховного уголовного суда с «*росписью уголовным преступникам*» и приговором осужденным.

*24 июля 1826 г.* Пушкин в Михайловском узнает о казни декабристов. Предположительно, тогда же рождается замысел гениального стихотворения «Пророк».

*14 августа 1826 г.* В знаменитом письме П. А. Вяземскому, который нашел, что пушкинское обращение к новому царю «сухо,

холодно и не довольно убедительно» [ХIII: 289], — удручающая ярость: «*Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы*», — и безумная надежда на объявление монаршей милости к осужденным по случаю предстоящей коронации — и безмерная скорбь: «*Еще таки все надеюсь на коронацию: повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна*» [ХIII: 291].

*Ночь с 3 на 4 сентября. — 4 часа пополудни 8 сентября 1826 г.* Село Тригорское в смятении: «В ночь с 3-го на 4-е число прискакал офицер из Пскова к Пушкину и вместе ускакали на заре», — записывает в календарь соседка по имени, верный и чуткий друг поэта П. А. Осипова [Летопись 1999: 167]. Доставленный из Пскова в Москву «не в железах», Пушкин был принят в Чудовом дворце Кремля Николаем I. Об этой часовой аудиенции достоверно известно, что император задал поэту вопрос: «Что сделал бы ты, если бы 14 декабря был в Петербурге?» — «Встал бы в ряды мятежников», — был ответ... [Летопись 1999: 169]. Испытание чести, от которого зависят судьба и жизнь, — как часто этот мотив впоследствии будет возникать в художественном мире Пушкина!

После этого острейшего момента ситуация «властитель — певец» [Прокурина 1999: 104] переламывается — разговор принимает более «конструктивный» характер; суть его в «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина» изложена так: «На предложение изменить образ мыслей поэт, после долгого колебания, обещал сделаться иным. Несомненно, речь зашла о тяготах цензуры. В итоге царь обещал ослабить цензурные препоны (быть цензором его произведений), отменил ссылку Пушкина и разрешил ему проживать в обеих столицах. По отдельным воспоминаниям, Пушкин во время разговора с царем становился все свободнее, что не нравилось монарху. Выйдя из кабинета с Пушкиным, Николай, обращаясь к придворным, сказал: «Теперь он мой»» [Летопись 1999: 169; Эйдельман 1987: 18–50].

Поражает то, как плодотворно трудился поэт в водовороте событий 1826 г. Объяснение этому находим все в том же драматически-лаконичном письме его к П. А. Вяземскому: «*Ныне каждый порыв из вещественности<sup>2</sup> — драгоценен для души*» [III:

291]. Как бы то ни было, «вещественность» наложила тяжкую печать на главу под названием «*Поединок*»: она справедливо признана «одной из самых трагических» в пушкинском романе [Иезуитова 1999: 286]. Автор одного из лучших комментариев к нему, А. Е. Тархов замечает, что «хотя романное время только движется к 1825 году, но эта переломная дата русской истории уже присутствует незримо внутри романа <…>, активно влияя на все дальнейшее идеино-художественное движение „Евгения Онегина“» [Тархов 1980: 265].

Пушкин уведомлял читателя: «*Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю*» [VI: 193 (примеч. 17)]. Основные события пятой главы «*стянуты*» к 12 января, по хронологии романа, 1821 г. — «*празднику именин*» Татьяны<sup>3</sup>, закончившемуся гневной выходкой Ленского. В начале шестой главы гости и хозяева ларинской усадьбы «*объяты сном*», Татьяна же томится в горестном предчувствии... Таким образом, время действия шестой главы определяется с ночи на 13 января до начала весны 1821 г. [Лотман 1980: 22]. Если жизнь Онегина изменилась лишь после дуэли, то судьба Ленского разрешилась в исходе поединка, что определяет центральную тему главы как тему «*смерти поэта*» [Тархов 1980: 262]. Дата поединка и гибели Ленского — 14 января 1821 г. [Лотман 1980: 22].

Взбешенный кокетством Ольги с Онегиным на именинном балу у Лариных, Ленский шлет приятелю «*приглашение на дуэль*». Когда же припадок ревности проходит, юный экзальтированный поэт находит иную причину своего вызова: он должен защитить невесту от «*развертителя*». Более сложен психологический рисунок поведения Онегина, которое, по словам Ю. М. Лотмана, «*определялось колебаниями между естественными человеческими чувствами по отношению к Ленскому и боязью показаться смешным или трусливым, нарушив условные нормы поведения у барьера*» [Лотман 1980: 104]. Онегин дороже всего ценит независимость, но попадает в плен условностей и «*из свободного человека превращается в орудие „дуэльного механизма“*» [Тархов 1980: 263]. Он принимает «*без лишних слов*» вызов юноши, к несчастью, избравшего своим секундантом дуэлиста опытного, но человека без сердца и без чести.

<sup>2</sup> «*Из вещественности*» — из современной действительности.

<sup>3</sup> Татьянин день отмечался по старому стилю 12 января, по новому стилю отмечается 25 января.

Детально анализируя и комментируя ход дуэльной истории в романе, Ю. М. Лотман приходит к выводу: «Зарецкий вел себя не только не как сторонник строгих правил искусства дуэли, но как лицо, заинтересованное в максимально скандальном и шумном — что применительно к дуэли означало кровавом — исходе» [Лотман 1980: 99]. Так стремительно развернулась ситуация, в которой Ленский обречен в жертву «светской вражды»: «против него холодное себялюбие Онегина, равнодушное пособничество Гильо и порочная заинтересованность собственного секунданта, ждущего зрелища кровавой развязки...» [Тархов 1980: 264].

Образ бездушного механизма мелькнет в жестких размышлениях Онегина о «пружины чести», а затем воплотится в фигуре, «парной» Зарецкому, — в слуге и, по капризу хозяина, секунданте Онегина (лакей в роли секунданта — оскорбление для дворянина Ленского!), мосье Гильо: в этой фамилии А. Е. Тархов рассыпал «отзвук гильотины» [Тархов 1980: 264; Баевский 1999: 245] — равнодушного и страшного орудия массовых казней во Франции периода яковинской диктатуры.

Получение вызова на дуэль сопровождают размышления Онегина о секунданте Ленского, завершающие характеристику этого «лица», «нового» в романе. «История» данного персонажа, Зарецкого, изложена в пяти строфах (IV–VIII) начала шестой главы, что объясняет значение, придаваемое ему автором (ср.: предыстории Ленского и Татьяны во второй главе также заняли по пяти строф: VI–X; XXIV–XXIX). Определивший ход поединка и повлиявший на развитие трагической коллизии шестой главы, характер этого «надежного друга», «доброго и простого» малого, представляет собою выдающееся достижение Пушкина-художника. Зарецкий создан как образ сложный и многослойный. Его характеристика отлита из цельного сплава грозного сарказма, негодующей иронии и «добродушного» юмора, предваряющего гоголевский. И это единство придется исследовать, «снимая слой за слоем», поскольку даже фамилия, выбранная для секунданта Ленского, оказывается многозначной — как в свете его сюжетной функции, так и в аспекте историко-литературной проблематики романа.

ЗАРЕЦКИЙ — фамилия, на первый взгляд, «обыкновенная», нередко встречающаяся в повседневной жизни, и в этом смысле

вполне приличествует персонажу, возникающему на фоне «низких», бытовых подробностей: в прошлом — карточное плутовство и трактирные дебоши, а ныне — «катуста», «утки и гуси» да «азбука» для детей холостого «отца семейства». И хотя он все тот же, что и в молодости, знаток жестокого механизма дуэли, но, как «механик деревенский», он сведущ и в устройстве мельничного жернова.

Во-первых, фамилия Зарецкий по своей «обыкновенности», как и по своей семантике (буквально — «обитающий за рекой», может быть, за той речкой, на которой стоит плотина и водяная мельница — место поединка), представляется пародийно-снижающим коррелятом к «высоким» функциям героев готовой разыграться трагедии: им даны условно-литературные, «гидронимические» (произведенные от названий русских северных рек) имена, принадлежавшие русифицированным персонажам светской комедии начала XIX в. [Фомичев 1986: 157–159] Ленским звали действующее лицо комедии А. С. Грибоедова и А. А. Жандра «Притворная неверность», а Онегин упоминается в комедии «колкого» А. А. Шаховского «Не любо — не слушай, а лгать не мешай». Написанные и поставленные в 1818 г., обе салонные пьесы были известны Пушкину, да и сам Онегин, условно говоря, вполне мог быть «зрителем» этих спектаклей «в эпоху» первой главы романа.

В новейшем комментарии В. А. Викторовича встречаем существенное уточнение из области литературной ономастики: фамилия Зарецкого «так же, как и фамилии Онегина, Ленского, взята из расхожего набора русских имен, использовавшихся в комедиях первой четверти XIX в., чаще всего в переделках с французского, с целью обрусения отечественной сцены. См., напр., комедию М. Н. Загоскина „Добрый малой“ (СПб., 1820. С. 44) <…> Некоторый намек на „говорящесть“ этой фамилии в пушкинском романе видится в сопоставлении с „речными“ фамилиями героев-антагонистов Онегина и Ленского: реальный антагонизм разделяет не их между собой, а их с живущим „за рекой“ „старым дуэлистом“» [Викторович 1999: 439].

Во-вторых, продолжая грибоедовское начало, подхваченное еще в пятой главе [Кичикова 1996: 147], своего Зарецкого автор явно производит от Загорецкого из «Горя от ума», очерчивая тем самым комплекс нрав-

ственных качеств, унаследованных одним от другого.

При нем осторегись: переносить горазд,  
И в карты не садись: продаст, —

[Грибоедов 1995: 80 (д. III, явл. 9)]  
— осторегает Платон Горич вольнодумца Чацкого от излишней откровенности вблизи Загорецкого; слова «переносить горазд», как широко известно, означают не только «переносить сплетни», но и «доносить». Услужливого проныру не жалует даже старуха Хлестова:

Лгунышка он, картежник, вор...

[Грибоедов 1995: 82 (д. III, явл. 10)]

Карточный шулер и гнусный сплетник — эти черты грибоедовского персонажа сохранены и в предыстории Зарецкого:

...некогда буян,

Картежной шайки атаман <…>

[VI: 118 (стрф IV);

Умел морочить дурака

И умного дурачить славно,

Иль явно, иль исподтишка...

[VI: 119 (стрф VI)].

Загорецкий вьется меж гостей Фамусова, главным образом, в качестве доносчика и политического провокатора (подталкивает к откровениям то Чацкого и Скалозуба, то пьяного Репетилова), активно, «с жаром» (откуда и фамилия Загорецкий) распускает он и клевету о сумасшествии героя грибоедовской пьесы.

Роль Зарецкого (удалившегося после былых «подвигов» в «философическую пустыню» своего поместья) лишена общественно-политического подтекста, тем рельефнее в ней выступает нравственно-психологический комплекс «проводника» иного рода — «беспринципного и циничного игрока чужими судьбами, провоцирующего дуэльные истории друзей себе на потеху» [Тархов 1980: 264]. Он мастер такой зловещей режиссуры: «расчетливо смолчатъ», «расчетливо повздоритъ»,

Друзей поссорить молодых

И на барьер поставить их. <…>

И после тайно обесславить

[VI: 119 (стрф VI, VII)].

В самом начале славной дружбы благородных героев тенью промелькнет предвестие развязки их отношений:

Мы почитаем всех нулями,

А единицами — себя.

Мы все глядим в Наполеоны;

Двуногих тварей миллионы

Для нас орудие одно;

Нам чувство дико и смешно

[VI: 37 (стрф XIV)].

Здесь взята высокая философская нота, но сентенция Автора во второй главе романа звучит и в адрес таких, как Зарецкий...

Во внутреннем монологе Онегина презрение к Зарецкому: «Он зол, он сплетник, он речист», — отступает перед пониманием опасности скрытого влияния сплетников на суждение окружающих:

«Но шепот, хохотня глупцов...»

И вот общественное мненье!

Пружина чести, наш кумир

[VI: 122 (стрф XI)].

Строку «И вот общественное мненье!» Пушкин сопроводил примечанием: «Стихи Грибоедова» [VI: 194 (примеч. 38)], — подразумевая восклицание героя «Горя от ума», узнавшего о распущенности в среде «фамусовцев» клевете политического характера [Тынянов 1968: 351; Кичикова 1991: 51–68] — о своем «сумасшествии»:

Поверили *глупцы*, другим передают,

Старухи вмиг тревогу бьют —

И вот общественное мненье!

[Грибоедов 1995: 113 (д. IV, явл. 10)].

Уточним: в сходной ситуации клеветы Онегин «вспоминает» не только вывод, но и ключевое слово речи Чацкого, опасаясь суда *глупцов*. «В данном случае текст „от Онегина“, взятый в кавычки, сменяется текстом „от автора“», — комментирует Ю. М. Лотман. — Грибоедовская цитата входит в последний, интонационно и идеологически в нем растворяясь: *П*<ушкин> как бы солидаризируется с Грибоедовым, опираясь на его авторитет» [Лотман 1980: 292]. И дело не только в том, что скрытая цитата «из Чацкого» в монологе Онегина продолжается в прямом цитировании Пушкиным — Грибоедова. Оба поэта оказались солидарны и в беспощадно трезвом взгляде на ситуацию клеветы: совершенно независимо один от другого, почти одновременно и Грибоедов, и Пушкин в письмах разным адресатам обозначили влияние клеветнического слуха на «общественное мненье» формулой: «*Никто* не поверил, и *все* повторяют!» [Кичикова 1991: 68].

Итак, функция клеветника — главное, что, отталкиваясь от имени грибоедовского персонажа, выделяет Пушкин в своем Зарецком и что определяет бесславное поведение Онегина в преддверий эпизодах и во время рокового поединка.

Современники же различали в характеристике Зарецкого (strofy IV–V) черты реального и по-своему знаменитого героя эпохи — Федора Толстого-Американца.

Граф ТОЛСТОЙ Федор Иванович, по прозвищу «Американец» (1782–1846 гг.) — отставной гвардейский офицер, один из самых неординарных характеров своего бурного времени. Как известно, в него портретно метил А. С. Грибоедов, описывая в «Горе от ума» одного из героев воображения Репетилова:

Не надо называть, узнаешь по портрету:  
Ночной разбойник, дуэлист,  
В Камчатку сослан был,  
вернулся алеутом...

[Грибоедов 1995: 106 (д. IV, явл. 4)].

Авантюрист, отчаянный бретер, презирающий всякие моральные нормы (он убил на дуэлях 11 человек и, впоследствии потеряв 11 своих детей, подвел черту в своем синодике, констатировав: «Квиты») [Востриков 2004: 176], за скандально-провокационное поведение во время первого русского кругосветного плавания под водительством И. Ф. Крузенштерна (в составе экспедиции Н. П. Резанова на корабле «Надежда», 1803–1804 гг.) был высажен на острове Крысиный Алеутского архипелага и вернулся в Россию через Камчатку и Сибирь. Он был «героем двух войн, русско-шведской (1808–1809 гг.) и русско-французской (1812 г.)» [Набоков 1999: 355]. Дважды разжалованный в солдаты, он вернул себе офицерский чин дерзновенной храбростью. После многих приключений, артистически приукрашенных в его поражавших воображение рассказах, он стал известен в обществе под прозвищем Американца, «которое, следуя языковой традиции начала XIX века, вполне могло быть заменено словом „индейец“» [Березкина 2001: 94]. По преданию, он показывал знакомым, в том числе и дамам, свое тело, сплошь покрытое татуировкой, которую якобы нанесли американские индейцы. Страстный картежник, он, по собственному признанию, за игрой имел «привычку исправлять ошибки фортуны», т. е. передергивать карту. Дружил с Д. В. Давыдовым, К. Н. Батюшковым и П. А. Вяземским, который дал ему афористическую характеристику:

Американец и цыган!  
На свете нравственном загадка,  
Которого, как лихорадка,  
Мятежных склонностей дурман

Или страстей кипящих схватка  
Всегда из края мечет в край,  
Из рая в ад, из ада в рай!  
(Толстому. 1818)

[Вяземский 1958: 114].

Л. Н. Толстой, его двоюродный племянник, назвавший родственника «необыкновенным, преступным и привлекательным человеком», воплотил его черты в образах старшего Турбина («Два гусара») и Долохова («Война и мир»). А. И. Герцен объяснял «буйные преступления» Толстого-Американца общественно-нравственным климатом России: «Удушившая пустота и немота русской жизни, странным образом соединенная с живостью и даже бурностью характера, особенно развивает в нас всякие юродства» [Герцен 1969: 211; см. также: Толстой 1926; Петрицкий, Суэтов 1987; Викторович 1999: 440–441].

Знакомство и начало общения Пушкина с Ф. И. Толстым относят к осени 1819 г. В Кишиневе поэт узнал об участии Толстого в распространении порочащих его слухов и ответил на клевету эпиграммой «*В жизни мрачной и презренной...*» (1820) и резкими строками в послании «Чаадаеву» (1821), долгое время собираясь драться с ним на дуэли, затем — вывести «*во всем блеске в 4-й главе Онегина*» (из письма брату Льву от 22 апреля 1825 г. — [ХIII: 163]), но ограничился «*рикошетным попаданием*» в Толстого характеристикой Зарецкого из шестой главы романа. Однако Зарецкий, «*некогда буйн, Картежной шайки атаман*», на фоне романтического, феерического авантюризма Толстого-Американца выглядит лишь его пошлым и мелким пародийным двойником.

По возвращении поэта из ссылки в Москву (сентябрь 1826) дуэль не состоялась, впоследствии противников помирили, а весной 1829 г. Пушкин поручил Толстому быть сватом к Н. Н. Гончаровой (о дальнейших отношениях см.: [Бонди 1971]).

*В нем злую храбрость выхвалял...*

— Один из многочисленных подвигов Ф. И. Толстого связан с кульминацией Отечественной войны 1812 г., когда тот самовольно бежал из-под домашнего ареста в своем калужском имении и явился прямо на Бородинское поле, где в солдатской шинели бросался с рядовыми в самую гущу боя; за «злую храбрость» он был награжден Георгиевским крестом IV-й степени [Лотман 1980: 289]. Эта «рыцарственность эпохи 1812 г., блеск хладнокровного и как бы небрежно-

го бесстрашия его героев» [Жукова 1981: 103] поистине достойны восхищения. Бородинский подвиг Ф. И. Толстого в прямом смысле воспет в застольной песне «дружеской артели» (Д. В. Давыдов, Ф. И. Толстой, В. А. Жуковский, В. Л. Пушкин, К. Н. Батюшков — поэты и герои названы в порядке следования посвященных им куплетов П. А. Вяземского), называемой обычно по первой ее строке «Застольный шум, пенье и смехи...»:

А вот и наш Американец!  
В день славный, под Бородиным,  
Ты храбро нес солдатский ранец  
И щеголял штыком своим.  
На память дня того Георгий  
Украсил боевую грудь;  
Средь наших мирных, братских оргий  
Вторым ты по Денисе будь

[Вяземский 1958: 400].

Обратимся к трезвому документальному свидетельству того, кто воспет первым на этом дружеском пиру и кто, возможно, во время создания застольной песни (1816 г.?) пылкого Вяземского готовил к печати свой «Дневник партизанских действий», где без всякой экзальтации приведены факты, события, имена: «В Бородинском сражении принимал участие и граф Федор Иванович Толстой, замечательный по своему уму и известный под именем *Американца*; находясь в отставке в чине подполковника, он поступил рядовым в московское ополчение. Находясь в этот день в числе стрелков при 26-й дивизии, он был сильно ранен в ногу. Ермолов, проезжая после сражения мимо раненых, коих везли в большом числе на подводах, услыхал знакомый голос и свое имя. Обернувшись, он в груде раненых с трудом мог узнать графа Толстого, который, желая убедить его в полученной им ране, сорвал бинт с ноги, откуда струями потекла кровь. Ермолов исходатайствовал ему чин полковника» [Давыдов 1982: 158].

*В пяти саженях попадал...* — По расчетам Ю. М. Лотмана, «сажень — три аршина, или 2,134 м. Расстояние это — приблизительно около десяти шагов — было обычным для дуэлей» [Лотман 1980: 289]. Комментатор приводит пункт 1 условий, выработанных секундантами Пушкина и Дантеса для их поединка: «Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга и пяти шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам» [Лотман 1980: 97].

Анализируя ход поединка Онегина и Ленского (строфы XXIX–XXX), новейший комментатор подытоживает: «Противники сделали <…> по девять шагов. Если допустить, что до барьеров им оставалось пройти всего лишь по одному шагу, то получается, что расстояние между барьерами было определено Зарецким в двенадцать шагов (в действительности это расстояние могло быть и меньшим). Это вовсе не соответствовало малозначительности дуэльного повода, а отвечало лишь натуре и привычкам Зарецкого» [Наумов 1999: 387].

*Раз в настоящем упоеньи...* — Выражения «жажды битвы», «упоение боем» и т. п. находятся в одном семантическом ряду и восходят к очень древним сакрально-мифологическим представлениям о битве как пире. Пушкин же слово «упоение» употребляет в прямом словарном значении, иронически подчеркнутом эпитетом «настоящее», обнажая его исконную (а не метафорически-возвышенную) связь с глаголом «упиться». Этот пренебрежительно-бытовой, оценочный контекст «упоения» Зарецкого усилен последующим уточнением: «Как зюзя пьяный». Впоследствии, в 1829 г. побывав на театре военных действий в Закавказье и Турции и, по свидетельствам очевидцев, бросаясь в самую гущу сражения, поэт в действительности испытал то, что он выразил знаменитой строкой из «маленькой» трагедии «Пир во время чумы»: «Есть упоение в бою...» (1830 г., Болдино, осень [VII: 180]).

*С коня калмыцкого свались...* — Эта подробность не имеет отношения к биографии Толстого-Американца, который был преображенским (т. е. гвардейским пехотным, а не кавалерийским) офицером и в плен, безусловно, не попадал [Лотман 1980: 290]. Трагикомическая подробность: «смело в грязь С коня калмыцкого свались», — характеризует вояжу Зарецкого как явно плохого наездника: истинный кавалерист, даже мертвеецкий пьяный, на коне чувствовал себя увереннее, чем на твердой земле.

В статье «Калмыцкий конь» из I тома Онегинской энциклопедии читаем: «Лошади калмыцкой породы, не отличавшиеся красотой форм, в мирное время не поступали под седло офицеров русской армии, которые предпочитали ездить на крупных конях орловской и других верховых пород. Во время войны с Наполеоном русская армия понесла большие потери конского состава,

и требования к поступавшим на пополнение лошадям были снижены. В регулярную конницу стали брать и степных лошадей. Гуляке и пьянице Зарецкому могла достаться неказистая, но выносливая, а главное, недорогая калмыцкая лошадь» [Гуревич 1999: 488]. Подобные утверждения вызывают множество возражений и нуждаются по меньшей мере в уточнениях. Приведем лишь некоторые из них.

Именной Высочайший указ о формировании двух калмыцких пятисотенных полков «из орд, обитающих в Астраханской, Саратовской и Кавказской губерниях и в пределах войска Донского», последовал 7 апреля 1811 года, а 28 августа 1811 г. 1-й Калмыцкий полк под началом нойона Джамба-тайши Тундутова и 2-й Калмыцкий полк под командованием нойона Сербеджа-ба Тюменя выступили к Воронежу. Надвигалась «гроза двенадцатого года» [VI: 522]. Сбор пожертвований для нужд армии — денежных, провиантскими и особенно конскими поставками — шел в калмыцкой степи «с самого отправления» обоих национальных полков: с июля 1811 до осени 1812 г. [Прозрительев 1990: 124–125 (I)]. По уточненным сведениям из новейшего академического труда, за весь период Отечественной войны в помощь войскам калмыки «внесли 23 510 рублей и передали более 2 300 строевых лошадей и 1 100 голов крупного рогатого скота. В 1812 году пожертвования по всей стране составили 4 139 лошадей» [Басхаев 2009: 620]. При этом надо учесть, что и Тундутов, и Тюмень отказались принять возмещение от казны на затраты по обмундированию своих полков [Прозрительев 1990: 89 (I); Беликов 1960: 104, 106, 112].

Через двадцать лет после окончания Отечественной войны и Заграничных походов российской армии знаток калмыцкого быта отмечал: «Лошади калмыцкия, не имея заметной наружности, отличаются легкостию и твердостию. На них можно проезжать до 100 верст, не останавливаясь» [Нефедьев 1834: 253]. Это сказано о рядовой калмыцкой лошадке, второй половине самого существа степняка-кочевника, воспетой в знаменитой песне о войне 1812 г. «Маштак боро минь» («Низенький мой Серко»), ныне более известной по первой строчке «Сөм хамрта парнцузиг...». Но ведь на протяжении столетий калмыки и их предки ойраты вели стихийную или целенаправленную селекционную работу по формированию не-

обходимых для этносаnomадов качеств четвероногого спутника и друга (в том числе и способом «степного поиска», т. е. угона и грабежа — обычное дело). Кроме «маштаков» черного люда, в бескрайней степи паслись и элитные табуны — достояние кочевой аристократии. Свидетельство об одной элитной породе, называемой «кони с маральими ушами», сохранилось в историко-эпической песне об эркетеневском нойоне Мазан-баатаре [Кичиков 1983: 121], герое XVII в.:

Табун его — кони «маральи уши»,  
Скакун его славный Рыжко.

Сохранился ли генофонд этой легендарной породы коней? Известно лишь то, что при сборе пожертвований 1812 г. эркетеневские зайданги, «за неимением денег и лошадей, приносили в дар 400 быков» [Прозрительев 1990: 125 (I)].

В 2006 г. в прессе Калмыкии была опубликована статья о местной породе коней, где, в частности, утверждалось: «Великий русский полководец Суворов во время всех своих победных походов ездил только на калмыцкой лошади, и большинство бойцов его армии следовали примеру генералиссимуса» [Дорджиев 2006]. Заявление о том, что «все свои» походы великий полководец совершал на калмыцкой лошади, кажется вполне понятным патриотическим преувеличением, хотя, например, Г. Р. Державин, оплакивая кончину Суворова, вспоминал пронзительную подробность:

Кто перед ратью будет, пылая,  
Ездить на кляче, есть сухари...  
(Снегирь. 1800) [Державин 1985: 222].

Возможно, «кляча» — это и есть неказистая, с виду замореная, калмыцкая лошадка. Однако есть абсолютно достоверное свидетельство о том, что А. В. Суворов высоко оценил *походные качества* калмыцкого коня.

В «Военных записках» Дениса Давыдова события, герои и обстоятельства предстают под совершенноенным углом зрения. Здесь все увидено взглядом не просто кавалериста, но конника во многих поколениях: Д. В. Давыдов, как и многие из русских дворян, был потомком выходцев из Золотой Орды (Улуся Джучи, старшего сына Чингис-хана) и с гордостью называл себя «исчадьем чингисхановым» [Давыдов 1982: 207; Кичикова 2009: 44]. Так, например, он сначала описывает «наполеонову лошадь», а уж затем самого Наполеона, уви-

денного автором во время встречи русского и французского императоров в июне 1807 г. в Тильзите. Тогда был заключен мир, но «1812 год стоял уже посреди нас, русских, с своим штыком в крови по дуло, с своим ножом в крови по локоть» [Давыдов 1982: 97, 101–102]. К слову, башкирские лошади определены чуть ранее как «неуклюжие, малорослые» [Давыдов 1982: 85]. О калмыцком же коне — ни одного дурного слова, никакой затаенно-пренебрежительной интонации, что неудивительно: калмыцкий конь принадлежал отцу Дениса, Василию Денисовичу Давыдову, и с ним связано одно из самых сокровенных воспоминаний автора.

Очерк «Встреча с великим Суворовым (1793)» открывает «Военные записки». Будущему герою Отечественной войны 1812 г., прославленному поэту, основоположнику тактики партизанских действий, было в то время девять лет. «С семилетнего возраста моего я жил под солдатскою палаткой, при отце моем, командовавшем тогда Полтавским легкоконным полком» [Давыдов 1982: 21]. Ожидали приезда Суворова, командовавшего корпусом войск, на смотр и маневры. У будущего генералиссимуса впереди были почти все его походы и кампании. «Я помню, что сердце мое упало, — как *после* упадало при встрече с любимой женщиной <…> как теперь вижу <…> впереди толпы Суворова — на саврасом калмыцком коне, принадлежавшем моему отцу, в белой рубашке <…> На нем не было ни ленты, ни крестов» [Давыдов 1982: 33]. Позже мы видим полководца, «всего опыленного, на крыльце, трепавшего своего коня и выхвалявшего качества его толпе любопытных, которою был окружен. «Помилуй бог, славная лошадь! Я на такой никогда не езжал. Это не двужильная, а трехжильная!». Суворовскую оценку качеств калмыцкого коня автор записок поясняет примечанием: «В народе существует предрассудок, что будто в шеях некоторых сильных и прытких лошадей находятся две особые жилы» [Давыдов 1982: 35].

Кони калмыцкой породы, чрезвычайно послушные и выносливые, «сильные и прыткие», были обучены нести всадника в любых условиях похода и сражения. В бою для воина конь был как третья рука. Ремонтеры тысячами отбирали для армии строевых коней и тягловых лошадей калмыцкой породы, ценя их именно за эти, веками вырабатывавшиеся, генетические качества. Ремонтные поставки из калмыцкой степи в российскую армию неуклонно возрастили

до последней трети XIX века; со второй половины столетия в калмыцком коневодстве началась постоянная селекционная работа. Нойон Тюмень в конце 1850-х гг. располагал 3 000 лошадей улучшенной породы; в 1890-е гг. «зайсанг Бага-Чоносова рода южной части Малодербетовского улуса Эмген-Убуши Замджинович Дондуков, являвшийся корреспондентом Главного управления государственного коннозаводства, устроил рассадник лошадей калмыцкой породы в урочище Эмне-Нур»; «лучшими коневодами в Калмыцкой степи считались зайсанги Малодербетовского улуса братья Э.-У. и И. Дондуковы, владевшие табуном в 1 000 голов. Селекционную работу начинал их отец, и благодаря успехам на этом поприще, Дондуковы стали продавать лошадей ремонтерам русской армии» [Батыров 2009: 562–563].

Как известно, именно легкая, в том числе калмыцкая иррегулярная «летучая», конница обеспечила победу в Отечественной войне 1812 г. Дипломат, адъютант и сподвижник Наполеона, Арман де Коленкур писал: «Вы погибли, потому что они возобновляют нападение с такой же быстротой, как и отступают. Они — лучшие наездники, чем мы, и лошади у них более послушны, чем наши; они могут поэтому ускользнуть от нас, когда нужно, и преследовать нас, когда преимущество на их стороне. Они берегут своих лошадей; если иногда они и принуждают их к аллюрам и переходам, требующим большого напряжения, то чаще всего избавляют их от ненужной гонки туда и сюда, а мы такой гонкой губим своих лошадей» [Коленкур 1991: 201–202]. Знаменитый поэт, партизан-гусар Денис Давыдов, полемизируя с расхожим утверждением западных историков о том, что «армия Наполеона погибла от стужи и мороза», заключал: «…но не от одной стужи, как стараются в том уверить нас неловкие приверженцы Наполеона или вечные хулители славы русского оружия, а посредством <…> глубоких соображений Кутузова, мужества и трудов войск наших и неусыпности и отваги легкой нашей конницы» [Давыдов 1982: 262].

Свалиться с низкорослого (название «маштак» закрепилось в военном обиходе) калмыцкого коня высокой выучки и пьяным попасть в плен врагу означало стать «героем» долго помнившейся позорной истории, что и подчеркнуто иронией Пушкина: «*драгой залог!*».

*Как зюзя пьяный...* — Выражение из «лихого гусарского языка». Комментаторы единодушны в том, что выражение «как зюзя» в поэзию ввел Денис Давыдов [Лотман 1980: 290; Седова 1999: 448], имея в виду его стихотворение «Решительный вечер гусара» (1816). Приведем его полностью, так как без первой строфы смысл постоянно цитируемой в комментариях строфы второй будет невнятен.

Сегодня вечером увижуся я с тобою —  
Сегодня вечером решится жребий мой,  
Сегодня получу желаемое мною —  
Иль абшид на покой.

А завтра — черт возьми! — как зюзя  
натаинуся;  
На тройке ухарской стрелою полечу;  
Проспавшись до Твери, в Твери опять  
напьюся,  
И пьяный в Петербург на пьянство прискаку.

Но если счастье назначено судьбою  
Тому, кто целый век со счастьем незнаком,  
Тогда... о, и тогда напьюсь свинья свиньею  
И с радостью пропью погоны с кошельком

[Русские поэты 1989: 454].

Новейший комментатор уточняет: «Зюзя — „пьяный, насосавшийся как губка; вообще пьяница, пьянюшка; у кого язык во хмели коснеет“ (Даль). В русском просторечии это словечко употреблялось с более широкой семантикой: тот же Даль зафиксировал обозначение „зюзей“ „человека мокрого“ („Промок, как зюзя“), и плаксы („Эка зюзя, нюни распустил!“), и «дрянного» человека („У богача денег, что у зюзи грязи“). <...> Выражение „как зюзя“ обозначало крайнюю степень опьянения» [Седова 1999: 448].

В. В. Набоков в своем комментарии для англоязычной аудитории поясняет: «„Зюзя“ звучит так, словно непосредственно происходит от латинского *sus* („свинья“), но скорее всего является звукоподражательным образованием, имитирующим сосание...» [Набоков 1999: 437].

На наш взгляд, употребление Пушкиным простонародного выражения, введенного в «распашную» поэзию Денисом Давыдовым и бывшего у всех «на слуху» как давыдовское, применительно к обстоятельствам пленения Зарецкого создает глубокий контраст между позорным поведением этого персонажа и военным героизмом прославленного поэта-гусара. Кроме того, оно при-

дает объемность и авторитетность подлинно народной нравственной оценки («мнения народного» [VII: 93]) падению «честного человека» и «истинного мудреца». Презрение можно выразить и кратко!

*Новейший Регул, чести бог,*

*Готовый вновь предаться узам...* — РЕГУЛ — Марк Аттилий (? — ок. 250 до н. э.), римский полководец, герой Первой Пунинской войны, был пленен карфагенянами и под честное слово вернуться отпущен в Рим передать предложение мира; убедив Сенат продолжать войну, вернулся в Карфаген, где его ожидала мучительная смерть; стал олицетворением гражданского патриотизма и героического стоицизма. Эта антично-историческая параллель иронически применена к Зарецкому, способному снова сдаться в плен из-за неодолимой тяги к винам Франции.

Новейшие комментаторы делают справедливый вывод: «Сравнение с Регулом, „чести богом“, Зарецкого, который забывает о чести не только в бою и плену, но и во время поединка Онегина с Ленским, являясь секундантом, т. е. арбитром в решении вопросов чести, — еще одна сатирическая краска Пушкина, использованная им при создании образа Зарецкого. Пушкинская сатира в данном случае направлена и на общество, в котором Зарецкий выступает в роли „новейшего Регула“» [Строганов, Суворова 2004: 414].

*Вери* — В примечании 37 Пушкин поясняет: «*Парижский ресторатор*» [VI: 194]. Б. В. Томашевский заметил: «Никогда не выезжавший из России Пушкин знал тем не менее отлично, что происходило во Франции. Газет, рассказов приезжавших из Франции было достаточно для того, чтобы интенсивно жить интересами Парижа. В этом отношении любопытны мелкие черточки из его произведений, свидетельствующие о степени внимания к событиям во Франции. Так, в шестой главе „Онегина“ упоминается ресторан *Végu*, привлекавший в начале века гастрономов Парижа в гостеприимные сени *Пале-Рояля*» [Томашевский 1960: 69].

Самый полный комментарий к имени, вернее, торговой марке Вери представлен А. Я. Невским в I томе Онегинской энциклопедии.

ВЕРИ Жан-Франсуа (1759–1826), сын крестьянина, уроженец небольшой деревушки в департаменте Мез. Ресторанное

дело основал вместе со старшим братом Жаном-Батистом (1749–1809) в помещени-ях Пале-Рояля. «В 1805 г., расширяя дело, братья Вери открыли кафе на Террасе Фельянов в саду Тюильри. Здание, им занимаемое, было единственным в Париже, специально для этого сконструированным и построенным. <…> Всеевропейская известность пришла к упоминаемому Пушкиным младшему из братьев — Жану-Франсуа — после 1808 г., когда тот, наследуя отошедшему от дел Жану-Батисту, возглавил оба заведения. Ресторан „братьев Вери“ (как еще долгое время значилось на табличке при входе в Пале-Рояль) первым в Париже ввел фиксированные цены. В 1814–1815 гг. это место пользовалось громкой известностью у офицеров союзных армий» [Невский 1999: 172–173].

Из знакомых Пушкина в ресторане Вери в разное время пировали или просто обедали поэты В. С. Филимонов, К. Н. Батюшков, В. К. Кюхельбекер, П. А. Вяземский, журналист Н. И. Греч, из литературных персонажей, кроме Зарецкого, герой прочитанного Пушкиным в 1829 г. романа Э. Бульвер-Литтона «Пелэм, или Приключения джентльмена» — Генри Пелэм, заключивший, что «Вери уже перестал быть королем парижских кулинаров» [Бульвер-Литтон 1988: 320].

«Уже в день капитуляции Парижа русский пехотный штабс-капитан писал своему знакомому в Петербург: «...пробрался я к Пале-Рояль, в средоточие шума, бегания, девок, новостей, роскоши, нищеты, разврата <…> В лучшем кофейном доме или, вернее, ресторации, у славного Verri, мы ели устрицы и запивали их шампанским за здравие нашего государя, доброго царя нашего» [Невский 1999: 173]. Этот пехотный штабс-капитан — один из поэтических учителей Пушкина, Константин Батюшков, письмо которого Н. И. Гнедичу от 27 марта 1814 г. приводит комментатор.

Пьянящая атмосфера победы, здравицы в честь «нашего государя»... По некоторым сведениям, Александр I велел возместить долги русских военных французским кредиторам, что вполне в духе непомерного щеславия «доброго царя нашего». В публицистическом очерке историка-эмигранта Н. И. Ульянова (1904–1985) личность императора и главные события его царствования, в том числе поход союзных армий на Париж, оцениваются бескомпромиссно: «В то время, как Австрия, Пруссия, Англия

шли под своими национальными знаменами и откровенно преследовали национальные интересы, Александр представлял себя благодетелем и освободителем „вселенной“.

Прусский король, не успев еще выступить в поход, приготовил счет на 94 миллиона франков в возмещение поставок для национальной армии в 1812 году. После победы союзники забирали у Франции порты, крепости, корабли, пушки, военное имущество и припасы, отхватывали территории на Балканах и в Италии — Александр не брал ничего. Он держался так, что никому в голову не приходило, что это царь самой бедной страны, чья столица обращена в пепел, чьи восемь губерний разорены дотла, чей народ истекает кровью после небывалой в истории войны. Не любил и вспоминать об этом. «*До какой степени государь не любит вспоминать об Отечественной войне!*» — замечает барон Толь в своих записках. „Сегодня годовщина Бородина“, — напомнил он императору 26 августа 1815 г.; Александр с неудовольствием отвернулся от него» [Ульянов 1992: 143].

Возмещение долгов русских военных парижским кредиторам означало бы для Зарецкого, который «примерно в то же время» [Невский 1999: 173] гулял по Парижу уже свободным,

*Чтоб каждым утром у Вери  
В долг осушать бутылки три,*

— свободу и от долгов. Тогда же он мог бы «встретиться» с Батюшковым, как и с другими знакомцами, приятелями и старшими друзьями Пушкина. Встреча литературного персонажа и реального исторического лица — совершенно «в духе» и по законам поэтики пушкинского романа, в седьмой, «московской» главе которого встречаются Татьяна Ларина и князь Петр Андреевич Вяземский:

*У скучной тетки Таню встретя,  
К ней как-то Вяземский подсел  
И душу ей занять успел*

[VII: 160 (стрф XLIX)].

Пока под сводами Пале-Рояля гремят победные клики и звенят бокалы, «парижский ресторатор» подсчитывает барыши. «Вскоре после 1817 г., наживший более чем миллионное состояние, он отошел от дел, передав их триумвирату племянников. Однако имя мастера еще долгое время оставалось популярным, а сравнение с ним считалось высшей похвалой. <…> Ресторан Вери просуществовал до 1859 г.» [Невский 1999: 174].

\*\*\*

Сюжетная функция Зарецкого осложнена еще одним, не отмеченным исследователями — мифологическим подтекстом, обусловленным его фамилией. Он является своеобразным проводником погибшего Ленского в загробный мир — не только трезво констатирует смерть юного поэта («*Ну, что ж? убит*»), но и *перевозит* его в царство мертвых:

*Зарецкий бережно кладет  
На сани труп оледенелый;  
Домой везет он страшный клад*  
[VI: 132 (стрф XXXV)].

Так, сыграв свою смертоносную роль в сценарии из тридцати одной романной строфы, старый дуэлист, представший неким поместным подобием греческого перевозчика Харона, окончательно исчезает из пространства пушкинского романа.

#### Литература

- Баевский В. С. Гильо (Guillot) // Онегинская энциклопедия: в 2 тт. Т. I. А–К / под общ. ред. Н. И. Михайловой; сост. Н. И. Михайлова, В. А. Кошелев, М. В. Строганов. М.: Русский путь, 1999. С. 245–246.
- Басхадеев А. Н. Военная служба калмыков в последней трети XVIII–XIX в. // История Калмыкии с древнейших времен до наших дней: в 3 тт. Т. I. Элиста: Издат. дом «Герел», 2009. С. 597–624.
- Батыров В. В. Хозяйственные занятия калмыков и торговля в калмыцких улусах // История Калмыкии с древнейших времен до наших дней: в 3 тт. Т. I. Элиста: Изд. дом «Герел», 2009. С. 559–572.
- Беликов Т. И. Участие калмыков в войнах России в XVII, XVIII и первой четверти XIX веков. Элиста: Калмгосиздат, 1960. 144 с.
- Березкина С. В. Почему Федора Толстого прозвали «Американцем»? // Русская литература. 2001. № 3. С. 92–95.
- Бонди С. М. Письмо к Толстому-Американцу // Бонди С. М. Черновики Пушкина. Статьи 1930–1970 гг. М.: Просвещение, 1971. С. 63–72.
- Бульвер-Литтон Э. Последние дни Помпей. Пер. с англ. М.: Правда, 1988. 768 с.
- Викторович В. А. Зарецкий // Онегинская энциклопедия: в 2 тт. Т. I. А–К / под общ. ред. Н. И. Михайловой; сост. Н. И. Михайлова, В. А. Кошелев, М. В. Строганов. М.: Русский путь, 1999. С. 439–442.
- Востриков А. В. Книга о русской дуэли. СПб.: Азбука-классика, 2004. 320 с.
- Вяземский П. А. Стихотворения. Изд. 2. / вступит. ст., подг. текста и примеч. Л. Я. Гинзбург. Л.: Сов. писатель, 1958. 597 с.
- Герцен А. И. Былое и думы: в 2 тт. Т. I. М.: Худож. лит., 1969. 925 с.
- Грибоедов А. С. Полн. собр. соч.: в 3 тт. Т. I. Горе от ума / подг. текста и коммент. А. Л. Гришунина; науч. ред. С. А. Фомичев. СПб.: Нотабене, 1995. 348 с.
- Гуревич Д. Я. Калмыцкий конь // Онегинская энциклопедия: в 2 тт. Т. I. А–К / под общ. ред. Н. И. Михайловой; сост. Н. И. Михайлова, В. А. Кошелев, М. В. Строганов. М.: Русский путь, 1999. С. 488.
- Давыдов Д. В. Военные записки. М.: Воениздат, 1982. 359 с.
- Декабристы. Биографический справочник / изд. подг. С. В. Мироненко, ред. акад. М. В. Нечкина. М.: Наука, 1988. С. 215–345.
- Державин Г. Р. Сочинения. М.: Правда, 1985. 570 с.
- Дорджиев Л. Кони наши быстры. О калмыцкой породе лошадей // Хальмг үнн. 2006. 14 марта. С. 4.
- Жуйкова Р. Г. Портрет Д. В. Давыдова в лицейской тетради Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1978. Л.: Наука, 1981. С. 103–104.
- Иезуитова Р. В. Глава шестая // Онегинская энциклопедия: в 2 тт. Т. I. А–К / под общ. ред. Н. И. Михайловой; сост. Н. И. Михайлова, В. А. Кошелев, М. В. Строганов. М.: Русский путь, 1999. С. 281–287.
- Кичиков А. Ш. Жанровое своеобразие повествования о Мазан-баатаре в аспекте калмыко-башкирских межэтнических связей // Межэтнические общности и взаимосвязи фольклора народов Поволжья и Урала. Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР, 1983. С. 120–128.
- Кичикова Б. А. Проблематика творчества А. С. Грибоедова: учеб. пос. / Калм. гос. ун-т. Элиста: КалМГУ, 1991. 80 с.
- Кичикова Б. А. Жанровое своеобразие «Горя от ума» Грибоедова (поэтические жанры в структуре стихотворной комедии) // Русская литература. 1996. № 1. С. 138–150.
- Кичикова Б. А. Калмыки в мире Пушкина // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2009. № 1. С. 42–50.
- Коленкур де А. Поход Наполеона в Россию (мемуары). Смоленск: Смядынь, 1991. 368 с.
- Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: в 4 тт. Т. II. (1825–1828) / сост. М. А. Цявловский, Н. А. Тархова; науч. ред. Я. Л. Левкович. М.: Слово / Slovo, 1999. 544 с.
- Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. Л.: Просвещение, 1980. 416 с.
- Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / пер. с англ. СПб.: Искусство – СПб; Набоковский фонд, 1999. 928 с.
- Наумов А. В. Дуэль // Онегинская энциклопедия: в 2 тт. Т. I. А–К / под общ. ред. Н. И. Михай-

- ловой; сост. Н. И. Михайлова, В. А. Кошелев, М. В. Строганов. М.: Русский путь, 1999. С. 381–386.
- Невский А. Я.* Вери // Онегинская энциклопедия: в 2 тт. Т. I. А–К / под общ. ред. Н. И. Михайловой; сост. Н. И. Михайлова, В. А. Кошелев, М. В. Строганов. М.: Русский путь, 1999. С. 172–174.
- Нефедьев Н. А.* Подробные сведения о волжских калмыках, собранные на месте. СПб.: Тип. К. Края, 1834. 277 с.
- Петрицкий В. А., Суэтов Л. А.* К истории одного прозвища (Ф. И. Толстой — «Американец») // Русская литература. 1987. № 2. С. 99–103.
- Прозрителев Г. Н.* Военное прошлое наших калмык. Элиста: Санан, 1990. 144 (I) + 28 (II) + 60 (III) + 44 (IV) + 30 (V) + XXXXIII с.
- Прокурурин О. А.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М.: Новое литературное обозрение, 1999. 462 с.
- Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1949: в 17-ти тт., дополненного и расширенного к 200-летнему юбилею поэта: в 19 тт. М.: Воскресенье, 1994–1997. Т. VI: Евгений Онегин. 1937(1995). 697 с. Т. VII: Драматические произведения. 1948 (1995). 397 с. Т. XIII: Переписка: 1815—1827. 1937 (1996). 651 с. Т. XVII (доп.): Рукою Пушкина. Изд. 2, перераб. 1997. 738 с.
- Русские поэты: антология русской поэзии:* в 6 тт. Т. I / сост. В. И. Коровин, Ю. В. Манн. М.: Дет. лит., 1989. 704 с.
- Седова Н. В. Зюзя* // Онегинская энциклопедия: в 2 тт. Т. I. А–К / под общ. ред. Н. И. Михайловой; сост. Н. И. Михайлова, В. А. Кошелев, М. В. Строганов. М.: Русский путь, 1999. С. 448.
- Строганов М. В., Суворова Е. И. Регул* // Онегинская энциклопедия: в 2 тт. Т. II. Л–Я; А–З / под общ. ред. Н. И. Михайловой; сост. Н. И. Михайлова, В. А. Кошелев, М. В. Строганов. М.: Русский путь, 2004. С. 413–414.
- Тархов А. Е. Комментарий* // Пушкин А. С. Евгений Онегин. Роман в стихах / вступ. статья и коммент. А. Тархова. М.: Худож. лит., 1980. 333 с.
- Толстой С. Л.* Федор Толстой-Американец. М.: Гос. Акад. худож. наук, 1926. 110 с.
- Томашевский Б. В.* Пушкин и французская литература // Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л.: Сов. писатель, 1960. С. 62–174.
- Тынянов Ю. Н.* Сюжет «Горя от ума» // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники / отв. ред. акад. В. В. Виноградов. М.: Наука, 1968. С. 347–379.
- Ульянов Н. И.* Александр I — император, актер, человек / Публикация В. Кошелева, А. Чернова // Родина. 1992. № 6–7. С. 140–147.
- Фомичев С. А.* Поэзия Пушкина. Творческая эволюция / отв. ред. акад. Д. С. Лихачев. Л.: Наука, 1986. 303 с.
- Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. Изд. 2, доп. и перераб. Л.: Наука, 1988. 544 с.
- Эйдельман Н. Я.* Пушкин: Из биографии и творчества (1826–1837). М.: Худож. лит., 1987. 463 с.

---

УДК 398.87

ББК 83.3 (2Рос=Калм)

## КАЛМЫЦКИЕ ПЕСНИ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 г.

Т. Г. Басангова

Исторические песни составляют значительную часть калмыцкого песенного творчества, они выразительно запечатлели многие исторические события, которые играли важную роль в судьбе народа. В калмыцкой фольклористике исторические песни обозначаются как *туужлгч дуд*, *туужчин дуд* или *кезэнк дуд*. По своему жанру песни об Отечественной войне 1812 г. относятся к протяжным песням *ут дуд*. Исследователями выделены два основных вида протяжной песни: бытовая обрядовая песня (в основном, связанная со свадебным обрядом) и эпическая историко-героическая, связанная с историческими событиями и личностями [Алимаа, Омакаева 2009; Бадгаев 2010].

В калмыцкой обрядовой культуре протяжные песни (*ут дуд*) звучали и в обрядах «перехода»: на калмыцкой свадьбе, в обряде проводов в армию [Борджанова 2007: 235].

Разгром наполеоновских войск в России послужил мощным толчком к росту национально-освободительного движения народов Европы против французского владычества. С самого начала 1813 г. военные действия развернулись за пределами России. Русская армия вступила в новый этап борьбы с наполеоновской Францией, неся освобождение европейским народам. Калмыцкие полки принимали участие в окончательном разгроме наполеоновских войск на территории герцогства Варшавского (Польши), Германии и Франции. 1-й Кал-